

Полина БАРСКОВА

АРИИ

ПУШКИНСКИЙ ФОНД
Санкт-Петербург • ММ



Что-то критики на меня сердятся.
Было время, они меня любили
За библейский профиль, нежный возраст
И чистое, до' в последние потах.
Было время, было время, сень,
А теперь я горючую пилотку
Их презрелиш потах вместо сладкой
Противобатаристий пилотки.
И поэты меня любили поплоту
Практику к огню или звать заболело
Говорит ах сужина ты докка
Всю-то пошь штал просел работу
То у нас Ахматова вторая.
Скорее все, думаю, не Пушкин,
Но мой и где, когда не кормит

Юсу

Полина БАРСКОВА

АРИИ

НОВЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

ПУШКИНСКИЙ ФОНД
Санкт-Петербург • ММІ

ББК 84. Р7
Б 26

Марка издательства работы
Сергея Семенова

На фронтисписе:
фрагмент белого автографа
стихотворения «Из переписки с друзьями»

ОНА НИКОГДА НЕ ПРИДЕТ С МОРОЗА

Нине Самус

каждый раз когда я пытаюсь жаловаться кому-нибудь
на жизнь
кто-нибудь обязательно раздражается
как ты можешь молодая здоровая красивая
при этом собеседник и не догадывается
что эти три слова действуют на меня
как кривле-кривле-бумс на тыкву
а вернее как полночь на карету
я утрачиваю всякую связь с реальностью
и скатываюсь с грохотом по лестнице
вываливая оранжевые потроха
пронизанные семечками размышлений
преследующих меня как
просто преследующих меня
с неотступностью имени собственного
начнем со здоровья
мое тело кажется мне меренгой
безе как сказал бы ухмыляясь сластена-галломан
пухлое и слепяще-белое снаружи
оно наполнено изнутри трухой
стоит сжать его даже не зубами
деснами только
пирожное подобно расшалившейся снегурочке
влажным облаком
само пролазит в глотку
раз и нет меня
к моей чести можно добавить
что врачи так и не пришли к согласию насчет моего недуга
они ставили меня на ноги
заставляли танцевать
и писали в медкарточке что-то вызывающе неразборчивое
этот переход к нервным иероглифам
от ликующей гладкописи патронажной сестры
«кожа чистая живот мягкий»
напоминает мне путь следования русской литературы

от Некрасова скажем к Лохвицкой
соседние ведь остановки
а не дай Бог зачитавшись промахнуться
пропадешь
молодость
молодость моя
длится уже очень давно
и кажется будет продолжаться еще очень долго
думаю изобретая относительность
он имел в виду именно метаморфозы молодости
если человек не говорит себе
а я еще хоть куда
значит он уже мертв
а если мужчина говорит тебе
я старик
значит следующие полчаса
ты не будешь учить уроки
молодость это гипербола а старость это литота
а между тем это мною сегодняшней
грозился дурак Карлос всеядной Лауре
прошло лет пять иль шесть
с той кондитерски-ароматной ночи
но седина не блещет
веки не чернеют, вваливаясь
и я вечнозеленая лежу в тележке белоглазого негра
угрюмый гранд нравоучивший потаскушку
был наказан за свое недоверие к неистребимой молодости
они недоговорили судя по всему
прямо на нем остывающем
но более всего меня занимает красота
меня бесит то что скороговорка здороваямолодаякрасивая
на их языке значит просто живая
то есть такая как мы не чужая никакая
Оскара зовите
пусть приползет гремя кандалами
изблюет зеленую гвоздику из несчетно использованных
уст своих
как вам не стыдно называть меня красивой
этим вы кастрируете красоту
больше она не спрыгивает с балкона в зеленые сумерки
не приходит под утро мокрая и вонючая с лягушкой в зубах
нет

она становится похожей на хозяина
доносит ему на молодую жену
пока он вытирает башмаки в прихожей
доедает его ужин
я всегда выносила себя за скобки красоты
умножала ее не смешиваясь с нею
я постаралась родиться у самой красивой из матерей
чтобы годами разглядывать
ее почти бесплотные обезьяньи руки
ее розовые волосы
я вся сжимаюсь от удовольствия
знакомя ее со своими друзьями
наблюдая, как их взгляд панически перебегает
от нее ко мне и опять к ней
и там успокаивается как растревоженный ребенок
ты уверена, что это твоя мать
жалобно переспросил меня сосед
славящийся своей деликатностью
мы вдвоем можем служить
хрестоматийной аллегорией вырождения
бензоколонка на руинах Акрополя
я горда своим предназначением оттенять ее сияние
тем же принципом я руководствовалась
выбирая себе адресат посвящений на всю жизнь
это немножко мешало нам
как он выражался
faire l'amour
как все крошечные любодей
он был излишне разборчив в словах
в родном для нас обоих наречии
он так и не смог приискать ничего
что бы не делало это самое ну вы понимаете
так или иначе смехотворным
что бы не отчуждало не затемняло не коверкало
а просто выражало изображая
служило бы по отношению к объекту просто окном
а не щурящимся от сознания власти над этим объектом
глазом
фотокамеры
словом
когда мы делали любовь
его красота несколько отвлекала меня

и к тому же мне не доставляло полного удовольствия
обладать этой красотой безраздельно
зато какая была радость наблюдать
как очередная жертва раздваивается
на остатки здравого смысла
пошляк хам проходимец
и острую необходимость
уединиться с ним в ванной
пока мы с недоумевающим законным спутником
очередной жертвы
обсуждаем в гостиной вон ту репродукцию Мунка
о Мунке можно говорить долго
когда они возвращались
победительницей чувствовала себя я
а не он
не вполне уже отличавший поражение от победы
и не она
унесенная как Элли из Техаса сказочным ураганом
и предчувствующая объяснения с Тотошкой
я же ощущала восторг Пигмалиона
узнавшего что Галатее получила пятерку по рисованию
все эти восторги продлились недолго
уступив место умилению
какая я была умница
что в крошечной тьме последнего содрогания
как запросто бы мог сказать если еще не сказал
вдогонку циничному Тютчеву простодушный Кушнер
подсмотрела и запомнила
так навсегда запомнила
расположение шести раскромсанных тел на полу
молоденькая новобрачная
а копыта уже стучали на мосту замка
и синяя борода развивалась
бедняжку, в отличие от меня
позднего и единственного ребенка
спасли братья
и теперь с несвойственной мне медлительностью
я смакую воспоминания
подобно моей подруге Катьке
которая два месяца по ночам ела один банан
на день давая темнеющему тельцу
под подушкой отдохнуть от пытки

но у меня задача поважней
мой сладостный плод придется растягивать
до конца дней моих
и тут мне есть чем похвастаться
6 часов 42 минуты промозглого вечера 10 октября
1996 года

когда он пошел на кухню за пепельницей
и замер в дверном проеме
напротив возмущенно отвернувшейся лампы
давая мне вдоволь налакомиться
своим в каждом изгибе неожиданным профилем
мне удалось длить полтора месяца
с носа я скатилась непростительно быстро
сказалась детская шалая повадка
с леденящим папину душу визгом
съезжать на животе с обледенелого дзота
памятника героям-блокадникам
зато уж с губами промашки не вышло
как самоотверженная лилипутка
я кралась по моему Гулливеру
огибая полыньи пор
продираясь сквозь жестокие заросли щетины
чтобы уткнуться наконец в родимую мякоть
и вдохнуть алкогольноникотиновый чад
я наполнилась этим духом как воздушный шар гелием
что дало мне возможность
немного приподняться над местностью
и обозреть ее сверху
подбородок еще можно было разобрать
но кадык совершенно терялся за горизонтом
так что разведкой этой я осталась довольна
путешествие обещает быть долгим
разве что обидно
что до самых лакомых
тут кормилица краснеет от хохота
а Джульетта Монтекки зажимает уши
частей я доберусь годам к шестидесяти
хотя как сказал бы мой склонный к отставным остромам
господин
алкоголь — медленная смерть, но мы никуда не торопимся
мне некуда торопиться
мне нужно наполнить

его несравненной красотой всю жизнь
которую он своей гибелью
опустошил, как саранча Княжество Киевское
в Повести Временных лет кстати
это вторжение описывается с гораздо более достоверной
горечью
чем половецкое
вероятно писавший ушел в монастырь после того
как погибла его ненаглядная грядка
мне некуда торопиться
маршрут мой мне хорошо известен
лошади напоены, проводники услажены
мольберт доставлен из монпарнасского подвала
где кудрявого разоблачителя Ани Горенко-Гумилевой
держали на коньяке и натурщицах
а прохудившийся сачок
обманом удалось выменять у Брайана Бойда
так что когда я жалуюсь кому-нибудь на жизнь
я рассчитываю услышать не бессмысленные сожаления
о том
что я молода здорова и красива и всё это без пользы
я рассчитываю услышать смеющееся «радуйся»
которым ты мне надписал свою книгу
впрочем
за исключением автографа
она оказалась на редкость заурядной



Иные сны имеют выход к морю...
Когда на сочном льду громил поляков
Датчанин с соболиной бородой,
Тогда она спала в библиотеке,
Большую, неуклюжую башку,
Как новогодний шар пожухлой ватой,
Хрустящими кудрями обложив.
Ей снились буквы — датские солдаты,
Бегущие в атаку на норвежских,
И золотушный предводитель их.
Ей снилось, как по полосе прибора
Он движется, он — хмурый пограничник,
И смотрит: нет, не перешла медуза
Рубеж запретный серого песка.
Он — «Г» заглавное. Он — во Главе абзаца:
Гонец, Гамак, Галера, Гамаюн,
Ультимативный знак Германофобам:
«Проблемы дома — срочно в Виттенберг!»

Уже лет четыреста, как этот малый снится?
Тому, кто тайно спит в библиотеках,
От тягостного мира защищаясь,
Как крепостною башней, стопкой книг.
Четыреста уж лет как он приходит
Когда мороз, когда часы на башне
Бьют сказку Маршака, поэму Блока,
Бессмысленное чётное число.
Является, студент Джордано Бруно,
К Гермафродитам лезет на колени,
Кричит: «Огня! Огня!».

Библиотеки,
Увы, огня боятся, как огня.
И потому он должен в полумраке
Преступникам давать урок миманса,
В немывтое лить ухо яд премьеру,

Пугать мышами дылду-травести
И хлопчика со съехавшею Грудью
Любить сильней толпы названных братьев.

Да, сорок тысяч родственников — это
Невиданный трагедии сюжет.

МАЛЕНЬКОЕ ЛЮБОВНОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Так нежный друг в бесчувственном забвеньи
Еще глядит на зыби синих волн,
На влажный путь, где в темном отдаленьи
Давно исчез отбывший дружный челн.

Боратынский, «Элегия»

Вот так и стой. Не покидай,
Когда тебя я покидаю,
Когда, как зверь-термит, глодаю
Твой изнуренный календарь.
Маши с причала мне платком,
Бинокль настраивай на точку
На горизонте. Я ж тайком
Смахну слезу, подставив щечку
Тому, кто, тесно приобняв
Меня, глядит на темный берег,
Рассеянно и вяло верит
В своих непоправимость прав
Иль правд. Но тверже верю я
В то, что, покамест ложь моя
Витает в комнате суровой,
Куда вернешься ты один,
Ты не предашься правде новой.
Валяй, кляни меня, суди,
Рви фотографии, где тлеет
Наш смех, застигнутый врасплох.
Прикладывай к запястьям змеек.
Как пес, раскапывай песок
В часах песочных. Жги конверты
С листами белыми, как сон.
Лей кислоту на натюрморты
В безлюдных галереях. Стой
Часами молча перед дверью,
Уча полночные шаги
Соседа. Призови гетеру
(Сказал бы Брюсов) — сапоги
Ей расстегни у самых бедер,
Вкричи в нее, в молчи, в молчи:

«Свободен! От тебя свободен...»
И я переломлюсь вдали,
Как жизнь Кощева. Покуда
Ты был мне раб, мое величье
Приумножалось. Сколько к мачте
Ты был привязан, пела я...
Читай же по губам: «Иначе
Не будет». Пой же: «Дольше, dolce!»
Хрипи же: «Девочка моя!»

ПЕРЕПЕВ ОДНОГО ПИСЬМА

«Я гений, гений, гений!.. Слышишь, ты?» —
Твержу я из тюремной срамоты,
Как Сирилу любимую считалку.
Не потный Вахх на мятой простыне
И не дурак, сжимающий во сне
Твое тепло, как пегий пудель — палку.
Прямой потомок королевы Маб.
Здесь каждый эльф — мой благодарный раб,
А ты — неблагодарный раб, не боле...
Не суть моей души, не плоть плода,
Ты — никогда мое. В снегах — вода,
Трава унылая на предосеннем поле.
Что связывало нас — острейший миг?
Твой, победительный, и мой, бессильный, крик?
Случайно пригодившееся слово?
Но связь удавом стала для меня,
А для тебя — зевком в печали дня,
Когда ты просыпался, в пол-второго.
Ну как ты мог? Но как ты, как ты мог?
Ведь я есть — Англия! Ее язык и Бог.
Живой язык, в пупырышках и слизи!..
А ты — пятно на нем, пятно на нем,
Зудящее. Поэтому я нем...
Я — гений? Я твоя подстилка, Бози.

ПЕСЕНКА ЛОРЕЛЕЙ

Иди туда, где два крыла,
Где безмятежным «ла-ла-ла»
Ласкает путника вода.
Ступай туда, где «Да!..»
Повсюду, на любой вопрос
Несется от небес и рос,
От недр незримых до вершин
Незримых: «...Ты — непогрешим!»
Не потому, что без греха,
А потому, что ты
Для нас — осина, и ольха,
И в ягодах кусты;
Еще — ручей и мшистый мост,
Какой-нибудь лохматый дрозд
И несколько красивых звезд
Над нашей головой.
Ты так же совершенен, как
Всё вышеназванное — знак,
Что ты пришел домой
И что никто «Ты — мой!»
Не выкрикнет, взмахнув хлыстом,
Сверкнув чешуйчатым хвостом;
Что рослый часовой
Не потревожит твой висок,
Не потревожит твой сосок
Малюсеньким свинцом...
А я? А я тебя ждала.
И это я тебя звала
Своим темнеющим лицом
И сладким «ла-ла-ла».

МОСКВА

Пустые хлопоты, казенные дома,
Прерывистые злые разговоры...
Так постепенно настает зима,
И темнотою тяжелеют шторы,
Бесформенные, словно жизнь сама.
Вот счастье редкое: всё износить до дыр,
Всё потерять. Стоять под небесами,
Как на лугу, в мистическом мерцаньи,
Людскими чреслами оставленный сортир.
И так теперь спокойно льется речь,
Никто не прерывает диалога
С тем, кто не позволяет умереть
И лишь условно носит имя Бога.

HALLOWEEN НА КАСТРО

Хоть есть или не есть,
Все должно умереть.
Барков

Зачем так ряженые мечутся в толпе?
Зачем, разряженные, мечутся в толпе
Все эти рыцари, патриции, монашки,
Все эти гурии с ногами вратарей?
Глаза обведены и выпячены мушки
У этих возбужденных сверхлюдей
Зачем? Зачем среди них бредет
— Пузан убогий в блеске гениталий,
Пальто на желтом теле распахнув,
И член его торчит, как клюв
У птицы, выгнанной из стаи?
Зачем среди толпы гуляют сто смертей?
(Я не придумываю, я — отображаю.)
Вот эта смерть готова к урожаю
Гунявых, рыженьких, сопливеньких детей,
Сраженных скарлатиной или свинкой,
И прет на них с нарядною корзинкой.
А эта смерть — развратница в трико,
Зрачки расширенные видят далеко
И выбирают тех, кто ненароком
Ее любил дразнить своим пороком
Наивным, кто в досужей болтовне
Скучал и плакал о последнем дне.
А эта? Без особого костюма,
Она строга и несколько угрюма.
Ее задача ей не по нутру,
Но, знаю, будет решена к утру,
Когда найдет невыспавшийся дворник
В разбавленной гирляндами грязи
Остекленевший анонимный трупик
Того, кто этот праздник без друзей
Провел, издалека приехав.
Хотел пошарить в праздничной толпе —

В дурацкой шубке беличьего меха
И в маске повелителя судеб.
Но наша смерть с тобой — она иная:
Она груба, немыслимо груба,
Как камни на дороге у Синая,
Как волоски верблюжьего горба.
И нет ее на этом карнавале,
Таких сюда не пустит полисмен.
В родной стране сидит она в подвале
И починает старенький безмен,
Чтобы, когда уже без оговорок
Всё перевесит наша страсть не быть,
Наслать какой-нибудь простой гриппозный морок
Или в заливе Финском утопить.



...Буде оно добро,
Золото, серебро.
Тягостный статус «про».
Ты — человек? Про что ты?
Этот — про «баш на баш»,
Этот — про «дашь — не дашь»,
Этот — сплошной коллаж,
Этот — поклеп природы
На себя самое.
Оставаться вдвоем
С каждым из них прескучно.
Быть же каждым из них —
Вот задача! Для тех,
Кого трогают нужды
Дерзостного ума.
Быть зимою. Зима —
Про экспансию ночи,
Про «не выйти во двор»,
Про замерзшие очи
Обитателей нор,
Гнезд: тушканчиков, птичек,
Про уже к февралю
Шепчет автоответчик:
«Говорите, я сплю».
Быть Америкой или
Быть ее двойником,
То есть родиной в мире
Ото всех под замком,
Потому что нет средства
Лучше спрятать и скрыть,
Чем на видное место
В простоте положить.
Быть Америкой — это
То же самое и
Те же самые. Те, кто
Растворились вдали.
Вдруг, по правилам бреда,

Словно из-под земли,
Что за разница, где мне
Вековать, зимовать?
Как обтачивать кремни?
Чем искру выбивать?
Если всё про одно лишь,
Про одно, про одно:
Просыпаешься, куришь,
А уже и темно.



Наклонись надо мною, как синий комар
Наклоняется ночью над жертвой своей.
Жертве снится запутанный, скучный кошмар:
Шум погони, труп девы в воде среди ветвей.

А комар напрягает стальной хоботок
И впивается в мокрый от страха висок.
И когда выпивает он первый глоток,
Там во сне эту деву кладут на песок,
И — она открывает с усилием глаза.

Сон, не помня себя, превращается в крик.
Если верить часам, то прошло полчаса
В этой комнате, полной нечитанных книг,
Фотографий, с которых глядят мертвецы,
Как туристы, на жизнь, неподвластную им.

А комар, извлекая из алой пылицы
Свои нежные члены, досадой томим,
Растворяется в воздухе. Песнь комара
Горожанам милее, чем песнь пастуха
Анемичным пейзажам. Пресны вечера
Без нее, ночь слепа, ночь нема, ночь глуха.

**ИСТОРИЯ ИДЕОЛОГИИ И ПОЭЗИИ.
ИДЕОЛОГИЯ ИСТОРИИ И ПОЭЗИИ.
ПОЭЗИЯ ИДЕОЛОГИИ И ИСТОРИИ.
ИЛИ — ВДОГОНКУ А. З.**

Не лазоревый дождь,
И не буря во время ночное.
Вагинов

Сократ, сокращая стократ... — Перестань, перестань!
Твое ль это дело? А чье это, чье это дело? —
Тристан тростниковой треской пробежал по кустам.
Затурканный турок, как тетерев, лезет на терем.
Автобус, похожий на булку, везет Петергоф.
Ты помнишь их рожи, тех статуй Большого фонтана?
Там Зубов с Ланским расслабляются в сумерках в гольф,
Дидро и Вольтер занимают на ром у Нептуна.
А может, не там это? Может быть, в Царском Селе?
Нет, в Детском Селе. Ведь цари, они, знаешь, как дети.
И вот Катерина в Афины летит на метле,
И жадный Потемкин в Варшаву спешит на рассвете.
Там, в Царском Селе, то есть в Пушкине... То есть, внутри?
Да, где-то меж легкими, там, где так тонко, что рвется,
Там, за руки взявшись, идут к лицеистам цари,
И белыми ручками треплют по щечке уродца.
Кудельки его рыжеваты, а губы жирны,
Как морепродукты в китайской вонючей столовке,
И вот Александр, в смысле I-й, заметив усталость жены,
«Карету!», — кричит, и, нахмутив белесые бровки,
Выходит к фонтанам... Пстой, но фонтаны — где Петр.
Фонтаны — где Петр, а где Павел — разбойные белки.
И Стрелки... Ура! Наконец-то, закончен досмотр,
И можно прервать этот раунд с кумиром в гляделки,
Покуда на лоб не полезли набухшие зенки,
И можно бежать,
и бежать,
и бежать до тех пор,
Пока не провалишься в хищную пропасть подземки.



Эрику Найману

На дверцах здешних туалетов —
Конечно, чаще изнутри —
Таится множество секретов,
Занятных, что ни говори.
Я прихожу сюда, как бедный,
Зажав катетер под полой,
Жан-Жак за дерзостью победной,
За пра-природой удалой.
Уж где искать ее по свету?
Не в порнолавках по рублю,
Не в пожевавшем сигарету
Посткоитальном «Да, люблю»,
Не в занавешанных застенках
Обысканных цензурой снов.
На идиллических оттенках
Сортирах Беркли, без штанов,
Могли бы юные и злые
Поведать миру, наконец,
Чем солнце движется, что Лие
Рахиль шепнула. Жнец, и швец,
И на фаллопиевой, нежной,
Трубе игрец — все в гости к нам —
Блеснуть острою кромешной!..
Искомых пиршеств нет как нет.
Я вам скажу один секрет —
Как жаль, что я его забыла:
Когда мне было десять лет,
Я знала — вызревает семя,
Грядет жених, чернеет мед.
Искавший жертвы райский плод,
Я возвышалась надо всеми
Средь синих листьев. Я была
Прозрачна и проста, как Логос.
Тогда и надо было. Мгла
Так быстро пожирает голос!

Власть кислотой сжигает плоть
Словесность иссушает тело.
Сообразивший это Лот
Один спасется из-под пепла
И, дотрусив до наших мест,
На стенке маркером лиловым
Напишет: «*Я вас выеб в рот*».
Свинья не выдаст. Бог не съест.
Но Плоть развернется над Словом.

ПИСЬМО ЛЮБИМОМУ В КОЛОРАДО

Сегодня гладила щенка.
Его прохладные бока
Дрожали под рукой.
Скривив печальное лицо,
Он забирался на крыльцо.
Ступенька высока.
До стога я люблю щенков,
Игру их мягких позвонков
Под шелком на спине,
Движенье замшевых носов —
Мой папа, едкий философ,
Пенял бывало мне
На сходство с Геббельсом. Он, мол,
Любил овчарок, приобрел
Немало редких птиц.
А между делом... «Вот и ты, —
Он говорил, — щенки, цветы,
Зияние зарниц,
А холодна, как лед сухой,
В ларьке мороженщика. Кой
Черт твои сю-сю?
Рой уменьшительных мастей?
Гной утешительных затей?..
Он отравил росу
Благих намерений — поток
До ада даже не дотек,
В болотце обратясь.
И, как болотные огни,
С кувшинок прыгают на пни
И гаснут вдруг, шипя,
Так чувства добрые, попав
В тебя, переменяют нрав,
А выйдя из тебя,
Блуждают, оборотни, в круг
Ночных дорог и, слыша звук
У въезда на мосток,
Преображаются в щенка
С флажком чернильного ушка —
И тормозит ездук».

ПОЕЗДКА В ХОБОКЕН

Пахло то ли нарциссами, то ли мочой
В переходе ночного метро.
Ты головку склонила ко мне на плечо,
И когда на подземном ветру
В лихорадке забилась тяжелая прядь,
То, заправив ее за ушко,
Ты сказала: «Нам скоро уже выходить,
Но пока нам и так хорошо».
Что же в этом хорошего? Сладкая тень
На экране пещерной стены?
Мы прекрасны и молоды. Больше — теперь
Очевидно, что мы влюблены
В то, что мы так прекрасны и молоды, в то,
Что светает над Бруклином, где
Эмигрантского солнца распухший белок
Развалился в кипящей воде;
В то, что нам не удастся друг в друга войти —
Значит, будем стоять у дверей
И шептать: «Понимаешь, уже без пяти.
Умоляю, давай поскорей!»
Дай мне слышать опять, дай мне видеть опять
Синеву, синеву, черноту.
Эту скользкую рафаэлитскую прядь
В этом алом, как водится, рту.
Слышать, видеть, вкушать, обонять, осязать
Смрад капустный — твою нищету
И твою пустоту. Ибо ты (как и я)
Абсолютно, предельно пуста.
Лишь поэтому, верь, не сойдутся края
И, пардон, не сольются уста —
Близнецы из Сиама, мы всё же вполне
Адекватны природе вещей,
Чтоб не видеть уродства союза и не
Знать, что связь не бывает прочней,
Чем в тугой, чужеродной ночи болтовня
И поддетый на вилочку груздь,
И стихи, что галдычит еще наизусть

Твой безумный отец. Твоя гордая грудь
В духе Эгона Шиле. Сенильная грусть
В духе Фета — о юности падшей. И пусть...
Твой висок на плече у меня.

КУПЛЕТЫ ПОЛИКРАТА

Я бросала свой перстень в воды всех океанов —
Так он всплывал, как желтая субмарина.
Повар ошеломленный спешил на завтрак с докладом
И рыбина изрыгала мое проклятье.
Фаворит, еще не вполне привыкший к этому чину,
Вертел в руках и цедил: «Какая милая безделушка!»
Я темнела лицом до состоянья бури,
Что за окном терзала балкона мрамор.
Повелевала четвертовать обоих — и повара, и кривляку —
И фруктовым ножом рассекала тупую рыбу,
У которой был шанс смотаться куда подальше
С перстнем моим в животе,
Обзавестись семейством, рыбатам дать приличное воспитанье
(Выкакав перстень, она бы смогла жить безбедно!).
Нет же — вот он, лежит, выпучив черный камень,
Похожий на глаз огромной целки Иноканаана,
И царевна тычет в него мизинцем,
В эту, еще недавно, слизистую оболочку
И раздражается хохотом: «Надо же: как лягушка!»

Боги, зачем же вы упражняетесь в остроумьи,
Будто и так мне ваш приговор неясен?
Зачем вы шлете постоянно новых данайцев?
Я не боюсь — всегда «Илиада» кончается «Энеидой».
Вот он лежит, похожий на глаз огромный целки Иоканаана.
Нету на свете такого глубокого океана,
Чтобы вместил в себя этот зрачок, реснички.

*«Что ты всё бродишь, милый? Что ты всё бродишь, милый?
Что ты там ищешь, милый?» — «Спи, дорогая. Спички».*

БЕЛЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Я слезу, как по улице едет мороженщик.

П. Б.

Мне являться начал
Другой, другой автомобиль.

Ходасевич

Да и какое дело мне до радостей и бедствий
человеческих, мне, страстующему офицеру,
да еще с подорожной по казенной надобности!..

Лермонтов

Уже эпитафии готовы —
Розовокрылые оковы
Для группы осужденных муз.
Мы ходим все по торным тропам.
Одни ползком, а те — галопом.
Я из вторых. (Какой конфуз!..)
Мы все — и эта, с носом кошки
И страстью к вишням и крошке;
Изящен череп, как яйцо.
Мы все — и отрок сальновласый,
Своей капризною гримасой
Гневящий дневное серсо.
Мы все. Глядим в одно из окон
Одним на всех квадратным оком
И видим, то есть слышим: вот,
Как самоходная шарманка,
Орган и орган в форме танка,
На нас мороженщик грядет.
Он ездит цельный день по кругу,
Сластены привыкают к звуку
Его мелодии простой,
Срываются с бездонной чашкой
И с изумрудною бумажкой,
И заывают на постой.
Он постоит, безлик и страшен,
Пока венцы ванильных башен

Спадут до вафельных руин,
И удалится с «ми-фа-до-ре»,
И, как утес в чернильном море,
Едок останется один...
Не так ли?.. Знаешь, что: не так ли!
Не так! Зачем, навроде пакли,
Торчат сравнению из дыр?
Не так. Но, всё-таки, похоже?
Нет. Не похоже. Проще, строже
К нас подъезжает дольный мир
И отъезжает — мы же ложкой
В нем ковыряемся. И с кошкой
Сравнённая, и тот сверчок,
Знаток Платонова и Plato,
Кто мне на днях посыпал яда
В недорасширенный зрачок.
Мы все. Рисуется колонна,
Затем рисуется галера.
С огнетушителем Нерона
Или со зрением Гомера,
Кричим надменно и сердито:
«Тележка, тпру! остановись!
Останься пеной, Афродита,
И слово, в музыку вернись
И в шарик сахарный свернись
Под микроскопом неофита».

СЧАСТЬЕ

Душа хотела б быть горшком,
Вернее тем, что станет скоро
Горшком — полешком, кочешком
Кроваво-бурой глины. Свора
Взбешённых пальцев глину — хватить!
И — раз! — и на колесо, на дыбу
И начинает рвать и мять
Неподдающуюся глыбу.
Но сжалившись или смекнув,
Что пряник действенной, чем кнут,
Подносит к гордой глине губку.
Сочится мутная вода
И глина поддается: «Да...»,
В ладони, словно в мясорубку,
Вползая. Чавкает педаль,
Глаза закрыты. Под руками
Живая, теплая печаль
Отдавшейся насилью ткани.
Но я не доктор Борменталь
И даже не Мария Шелли.
О палаче иль акушере
Речь не идет. Гончар — тире —
Гончар и есть. Он только руки.
Он существует только в круге
Вертящемся. И в букваре
Не ходит дальше хмурой Буки.
Ему не нужен властный Ведь,
Не говоря уж о Глаголе.
Круг будет гнать, дышать, вертеть.
Гончар, послушен низшей воле
Ножного привода. Гончар,
Как нелюбимый, но влюбленный,
Посредством примитивных чар
Вторгается в тугой, укромный,
Еще насмешливый комок,
И тот, за кругом круг, помалу,
Доверившись его обману,

Преображается в горшок.
Движение лески — завтра в печь
Горшок отправится, как отрок.
И станет — Космос, то есть Вещь.
Полезная для злых и добрых.

POTTERY/POETRY

Ремесло, которое выбрала я, и ремесло, которое
выбрало меня,
Причудливо соотносятся... Если бы! В самом деле...
Слова расползаются, как подушка и простыня
В битве бессонницы. Глина растёт, как опухоль на
невинном теле.
Поэзия ржавой ложкой снимает пенки, сливки, навар,
плодородный слой
С жижицы недоуменья, скопившегося за сутки.
Глина же соучаствует в каждом акте,
берет на себя мою ответственность передо мной,
Держится до последнего содроганья иглы, мастерка и губки.
И главное — всё это молча. С той мощной немотой,
Что исключает возможность не только диа-, но главное —
монолога.
Поэтому от разыскивающей меня Этой
всё чаще я прячусь в Той
И вслушиваюсь злорадно в тяжелую поступь Бога:
Он ищет меня по улицам Питера. Днем — с огнем,
А белой ночью — с собаками:
Достоевским, Гоголем, со спаниелем-Блоком.
А я сижу, вжимаясь в стенку кувшина, притворяюсь вином
И надеюсь на то, что в горлышко властным оком
Он не вопьется, не различит на дне
Беглую прораб(ыню) с его галеры,
Потому что когда Он всё же подносит губы свои ко мне,
Я различаю сквозь запах уксуса запах серы.
И не то, чтоб сей образный ряд возбуждал во мне
резкий звук
Выбора, отвращенья, беды, морали,
Но если (привет М. Б.!) есть Верх и Низ, то мне бы хотелось
дожить внизу
Жизнь, которую у меня... — у которой меня украли.
И не то чтоб кого-то хотелось мне обвинять
(Ведь объект и субъект едины у обвиненья),
Но глина, жалеющая меня, и поэзия, пожирающая меня,
Есть две вещи, не совместимые с точки зрения зренья.

«Зрение» — так называется последний приют таких
Нечестивиц, как я, лишивших себя иного.
Глаз раскрывает поверхность, палец пронзает стих,
Стенки сосуда рушатся, чувствуя натиск Слова.

MADRE SELVA

Смачно артикулируешь: «Номо Дicens — ничто».
Черепеха ли скрипнет под покрывшкой авто,
Птичка ль добавит красного в зеркало заднего вида.
Как лепешка коровья, расползлось плато
За вулканом, торчавшим, как макушка Давида,
В лаву вступившего.
Сладостно фокусируешь напрягшийся объектив
На ржавом трезубце кактуса, занесенном над стадом,
Фаустианской вспышкой этот миг охватив.
Плюхаешься в бессилии не слишком упругим задом
На сомбреро, которое идет тебе, как одной
Из жующих моделей — седло (говорят далёко).
На ритмический ход структуры тлетворно влияет зной.
Фотокамера, как игуана, смыкает око.
Человек Говорящий. Курающийся. Смердящий. Едущий
по чужой

Стороне неопратно сложнее
тартусских семиотик,
саранских героик,
венецианских скважин.
Что чувствует кватроченто, угодив в мезозой?
Презерватив, даже если обильно смазан,
Отделяет носителя от бездны, как парашют.
Ты опять понимаешь, что ты — это ты, на фоне...
Так ли важно — чего? И стервятники ждут.
Не тебя. Но — когда ты проедешь и кислой крови
Броненосца, который (нет, ты это видел?) мал
И похож теперь на скомканный коврик в ванной.
Голубоватый любитель Мексики врывается в кинозал,
И несется в коляске по лестнице Принц Желанный.
Человек Смотрящий — музейная роскошь.
Показывающий — о да!
Даже здесь, где отсутствие зрителя сводится к абсолюту.
Люди, львы, куропатки, стервятники и стада —
Все легли под колеса. Все приползли сюда.
Ты будешь фотографировать? Я-то конечно — буду.

ВДОВА БАБУИНА

Глядя на эту особу с внимательными сосками,
С личиком старой гейши: острым и никаким,
С метадарвинской прытью ищешь в ее оскале
Знаменателя перевоплощений. Акын
Зоопарковой службы, одолевший Редьярда
И любимца французских экзисте... (не могу!),
Нацарапал на камне, что печалью объята,
Уже с лишним два года эта особь «гу-гу»
Не промолвит, не бросит волонтеру свой мячик —
Покосившийся мячик в заднем правом углу.
Вслух мне это читает любознательный мальчик
С виноватым прищуром («Извините, я лгу»)
Уже с лишним два года, как Тарзан из похода
Не вернулся к подруге с темно-серым лицом.
Как в пустом Петрограде Сологуб — ледохода,
Бабуинша ждет срока и следит за жрецом,
Что царапает гневно каждый день на табличке:
Не давайте ей сахар, не поможет он ей.
Уже с лишним два года — изменились привычки.
Ни надежды, ни течки. На стене — муравей.
Перешел по наследству мяч упитанной крысе,
Что в трагедии няньку заменяет у нас.
Хор являют агенты метадарвинской прыти.
Как на карточке в паспорт, непременно в анфас,
Видит хор бабуинша или сразу затылки
Визитеров, поспешно уходящих к слону.
И становится тихо. Крыса гложет опилки
За спиной бабуинши. Та глотает слюну.

HOUSESITTER'S SWEET VENGEANCE*

Перед приездом хозяйки — включу джакузи,
Призову флейтисток и чтеца с черносливым баритоном.
Он будет нашептывать мне из Дороти Паркер:

*The sun's gone dim,
And the moon's turned black;
For I loved him,
And he didn't love back.*

Достану бритву из черепахового футляра,
Дождусь заката.
И вот во мне задвигнется вяло-вяло,
Затем уже мажорно и тесновато,
На выходе торопясь, толпясь, запинаясь,
Жидкость, которая так знаменита, но
Страдает солнцелюбью, являясь лишь на анализ,
Предпочитая местность, где слякотно и темно.
Пузырьки джакузи окрасятся в «Сан-джовезе»
Последнего урожая. Горечь ударит в нос.
Непутевый колибри заскользит на железе
Пляжного зонтика. Выстрелит лаем пес,
Овчарка хозяйки, воспитанная на Бахе или, там, Перголези.
Я же предпочитаю музыке сфер Гарделя,
Человека с лицом таксиста или чистильщика сапог,
Вообще, а также сегодня,
Перед тем, как вернется Медной Горы хозяйка.
И вкрадчивый стук коктейля
В висках заглушить не может гарделевский голосок:
«Robre Gallo Bataraz»**. — Что бы значило это?
Впрочем, песенка спета.
И хозяйка в дверях
Застревает со всхлипом: «Что за скверное лето!»
Снова тухнут в бассейне трупы мрачных нерях.

* Сладкая месть домосидца (англ.)

** Robre Gallo Bataraz — [приношение: «побре гайо батарас») что-то вроде «Бедный забияка», танго в исполнении аргентинского певца Карлоса Гарделя (1890–1935)

СОУЧАСТИЕ

И рече къ ней Михаилъ:
«И еще, святая богородица,
несть видела великихъ мук».
И рече святая ко архистратигу:
«Изыдемъ да походимъ,
да видимъ вся муки».
И рече Михаилъ:
«Куда хочещи, благодатная?»
И рече святая: «На полуноць».
*Хождение Богородицы по мукам**

Специфика моей поэтики
В том, что страданье ярче этики
На ослепленный вспышкой взгляд,
и в том, что только анальгетики
О главном с нами говорят:

Я тех сопровождаю в ад,
Кто и меня ему назначил.
Работа у меня такая —
Вопрос прощенья не стоит,
И нет иллюзии прощанья:
Мы скоро встретимся там. Значит
Мы можем говорить на равных,
Без опьянительных обид.

И с тем, кто юности победной
Засунул в горло плод запретный
Непервородного греха,
Не крайней, а бескрайней плоти.
Я наблюдаю, как в болоте
Цепляется за нити мха,
Но рвется подлая труха.

* Михаил сказал ей:
«Еще не видела ты, святая богородица, великих мук».
Святая сказал ахристратигу: «Пойдем и увидим все муки».
И сказал Михаил: «Куда ты хочешь идти, благодатная?»
Святая ответила: «На север».
(«Хождение Богородицы по мукам», XII век)

И с тем, кто детскому тщеславию
Внушил прожорливость удавию.
Кто властью прихоть напитал
Вот ковыляет он, убогий.
И я переставляю ноги
Ему. Вступает он в металл
Расплавленный.

И с тем, кто чудо,
Как царь лесной, на ложе блюда
Завел — верней, на табурет.
(Кто не любил на табуретке
Под пробуждение соседки,
Тот не любил.) Я помню — свет...
И снег и свет — в окне, под утро.
Он — бледный, как из перламутра
(С отливом зелени спитой).
Бутыль осуждена на сдачу,
И на полученную сдачу
Он едет похмеляться к той,
Чье имя в рамки нарратива
Не помещается. Игриво
Железный прут в кровавый пах
Ему вонзает черт железный.
И караулю я над бездной
С китайским фонарем в руках.

Что я могу? Молчать и плакать,
В аду распространяя слякоть,
Хоть как-то нарушать огонь.
Не о себе. И не об этих.
О ком? Об эфиопских детях?
(Гы-гы!) О, Господи! — О ком?!

АРИИ

I. Alt

Buß und Reu
Knirscht das Sündenherz entzwei,
Daß die Tropfen meiner Zähnen
Angenehme Spezerei,
Treuer Jusu, Dir gebähren.

*Nr. 10 Arie, Mattäus-Passion, J. S. Bach**

Есть у меня превратный друг.
Он кажется, что есть.
Не всё, что вижу я вокруг,
Он может перенести.
Вертится мой гончарный круг
Вокруг его оси.
Он неподвижен, этот друг.
По-нашему, спесив.
Никак не может разделить
Со мною моего.
Тимпан безумия звенит
В гортани у него.
Не может быть употреблен
На сладкое в ночном
И переварен быть на сон,
Отброшен в торный чёлн,
По Лете бегающий, как
Маршрутное такси.
Лишь я задумаюсь — тесак
В его руке блестит.
Я отражаюсь в нём такой,
С какой столкнуться вдруг
Мне не по силам. Так на кой,

* Покаяние и раскаянье
Раздирают греховное сердце,
Чтобы слез моих капли
Стали для Тебя, верный Иисус,
Драгоценным помазаньем.
Пикандер (Кристиан Фридрих Хенрици)

Мой нелюбезный друг,
По мне ты водишь острием,
Не зная, где воткнуть?
Спроси — придумаем вдвоем,
Пожалуй, где-нибудь.
Ты для меня — еще одна причина отдохнуть.
Я для тебя — берклийский шум
С сумою и щенком.
Я — содержимое тех урн,
Куда тайком-тайком
От малокровного себя
Ты заглянуть не прочь.
Что там? На золотых цепях
Раскачивает ночь
В гробу хрустальном, от меня
Оставшийся смешок
И с воем к укреплениям дня
Бежишь, прикрыв ожог.

II. Tenor

Geduld!
Wenn mich falsche Zungen stechen,
Leid'ich wider meine Schuld
Schimpf und Spott
Ei, so mag der liebe Gott
Meines Herzens Unschuld rächen.

*Nr. 41 Arie, Mattaus-Passion, J. S. Bach**

Есть у меня коверный друг
С гвоздикою в петли...
Он так смеется, как паук
Взбегает от земли.
К безвидной цели крон промеж
На нитке восковой

* Терпенье!

Когда язвят меня лживые языки
Я, невиновный, сношу
Эту брань и насмешки.
Да отмстит же наш господь
За моей души безвинность.

Пикандер (Кристиан Фридрих Хенрици)

Он в такт беззвучию дрожит
Латинской головой.
Пусть, кроме смеха, всё здесь лоск,
И блеск, и дрожь зеркал,
Но тленьем окаймленный мозг
Заметен сквозь оскал.
И сей кунсткамерный прием,
Так Шкловский говорил,
Всё сразу упрощает в нем,
Как школьный алгоритм.
Уж он не демон южных нег
Средь саранчовых бурь,
А зоопарковый зверек
С прогалиной во лбу.
И, кстати, бросив двадцать пять
Копеек в телескоп,
Часами можно наблюдать
Вспотевший львиный лоб.
Уж он не деспот Монтеस्कьё
В гаремной чехарде,
Но отражение мое,
Прилипшее к воде,
И, как отравленный наряд,
Мой взгляд к тебе приник.
Я пью? Я испражняю яд?
В уста? Из уст твоих?
Вода ж уносится, звеня,
И Эхо видит, как
Ты манишь мной к себе меня —
В придонный скользкий мрак.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ ДВУХ АВТОРОВ

Он был голубой, как альпийское небо —
Строка-то какая! строка... —
Он был голубой, как альпийское небо,
И куцый, как в ём облака.
Она же была совершенно бесцветна,
А также нема и глуха.
Она была тень от любого предмета
На ровном пространстве стиха.
Допустим, в ее теневом механизме
Роилась могучая жизнь,
Но нет у нас доступа к замкнутой жизни
На нас же наставленных линз.
Мы алчем признать результат преломленья,
А то, что ломает его,
Сливается с общей иллюзией зренья
И для познающих мертво.
Затем из мелодии так извлекаем
Мы скрипку, смычок и творца.
Все вместе томятся в прихожей пред раем,
Погрешностям нету конца.
Но этих погрешностей с нас и довольно,
Ведь нас не пускают туда,
Где цвет поглотившей бесцветностью больно:
«Афины Палладу сюда!»
Рукой мускулистой порушит Паллада
Ее черепка перламутр
И вырвет на суд кафедрального ада
Корыстный творения вздор.
Из тюбика червь выползает наружу,
Лазоревый, как синева,
И Штейгер торгует бессмертную душу
Пред той, кто, касаясь едва
Присосками тяжести тела земного,
Как кисточка, сразу на холст
Несет, обжигаясь, бесполое слово.
Ни с чем удаляется гость.



Но он не мог останавливаться
и иметь созерцающее сознание.

Платонов

Жизнь улыбалась мне сегодня,
Как провинившаяся сводня,
Свое динамо крутанув:
Улыбкой жалости и мщенья,
Усугубляя в чреслах жженье
И в печень погружая клюв.
На мой закат, сырой и мрачный,
Она фиксой блеснула смачной
И наказующим перстом
С лиловыми следами лака
На когте указала мне
На тень, мелькнувшую средь мрака.
Как на призыв: «Служи, кусака!»,
Я тут же скрылась в глубине
Ночного кампуса. Однако
Тебя и след простыл. Ты — не
Помедлил, чтобы мне случилось
Тебя догнать. Вдали светилось
Чужое месиво огней.
Так — Сан-Франциско над заливом
Навис наростом прихотливым...
Так что же, возвращаться к ней?
Зажав в прокуренную челюсть
Кривую палочку, ощерясь
Ее кривлянию в ответ
И претендуя на лежащий
В кармане сахарок, ледащей,
Трухлявой мордой ткнуть в живот?
Что выбрать мне — ее иль пустошь
Калифорнийской ночи? Пусть уж
Другие выбирают. Вот
Качается в испуге ветка.
Вот птица выпренно и редко

Пускает, как струю: «Угу!..»
И, отдаляясь, отрешаясь,
И отделяясь, отвращаясь,
То в сук, то в птицу превращаясь
Я сохраняюсь и — могу.

ИЗ ПРОЗРАЧНОЙ ПАПКИ



«Как Персефона и Живов,
вернусь сюда через полгода» —
сказал ты, с дикою улыбкой
рюкзак мой тучный теребя.
А я смотрела на твое
лицо волшебное уroda,
как Лазарь, с ужасом на чудо —
я так смотрела на тебя.
А больше так никто не смотрит —
ни подсудимый, ни влюбленный.
Ну, разве дерево на небо:
из года в год, из срока в срок.
Скакнет ли к деве небожитель
иль дождь прольется раскаленный —
листы не вздрогнут, дрозд не вскрикнет,
смолой не брызнет бугорок
на пористой коре. О чём бы
ты ни вещал мне и чего бы
ни обещал, я неподвижна:
ямщик не гонит, Днепр не стогнет —
Plus-quam-Perfect во всей красе.
В какие райские трущобы
меня завел, какие тромбы
ты вскрыл во мне — я неподвижна.
Пой Добролюбов: быть грозе.
И что бы ни происходило
в мирке заплечном героини,
гроза гораздо интересней —
не фон она, но Бог — она,
с ее прерывистым дыханьем,
с тяжелой поступью сирени
и с криком мамы: «Окна! Окна!»
и тут же — с брызгами окна.
Из той грозы сюда пришел ты

и в ту грозу уйдешь отсюда —
готическая тварь, гомункул,
карбункул, драгоценный гной,
моей (скривисься ты) державы
побег надорванный и желтый.
Шиплю, как ветхая пластинка:
«Не уходи, побудь со мной!»
Как златоризная Деметра... —
калифорнийский холм и поле.
Здесь не меняется погода,
и если у мужей рога,
то избыль, но оставим
фривольности. Не оттого ли,
что мир так вкрадчиво-фриволен,
я, как надсмотрщица, строга
и всё доверчивей и ближе
к твоей бесплотной алхимии.
Чего-чего, а этой блажи
бежала я в иные дни.
Но отступили дни иные,
и собеседник мой холодный,
как сорок тысяч братьев тает
болезненно, как снег в тени.



возьми мою голову в руки,
вшепчи в мое ухо, дрожа,
как Билли Холидей, щекотно промяукай:
прошла гроза,
и череп твой, проломленный у шеи,
и череп мой
в недалеком будущем населят змеи,
и младшая шепнет: «ползи домой»
своей сестре, и впадины глазные
ночами будут в темноту земли
глядеть, как окна,
и струи дождевые,
сквозь землю просочившись, застучат
по темени уютно

возьми же голову мою
в свои прокуренные,
в свои надушенные руки —
она твоя
скажи: «моя сестра»
но челюсти уже не вынести скопления согласных
и отвалится она,
и в том же самом стуке
соединится всё, что нас разъединило,
что Красная Шапочка сквозь лес не донесла

как Билли Холидей, зайдись на этом слове,
вцепись в него, как хищная игла
проигрывателя: сестра моя, сестра!
на острове Борнгольм кошачий лаз любви
преступной изучал нас, жмурясь из угла,
сестра моя
на острове Борнгольм, где Холидей, где праздник,
где праздник круглый год —
День Красного Таксодермиста,
День Всерайонного Суда —
ты в руки рассыпающиеся
голову мою возьмешь и скажешь:
«ну, где у вас там Ляпкин-Тяпкин?
подать его сюда!»

◇ ◇ ◇

Я тело в кресло уроню,
Я свет руками заслоню,
И буду плакать долго-долго
О том, что были вечера...

Н. Гумилёв

Богатейшая идея —
Эллина и иудея
Превратить в свиней,
Чтобы ползали устало
В швах гнилого одеяла
По рядам Цирцей.

Бальзамируй, бальзамируй,
Мой, Рафаэль, бледный, милый,
С тенью на лице,
Мнемоническим приемом
Делай чуждое знакомым —
Спит игла в яйце.
Дай Харону два обола,
Объясни ему *ab ovo*,
Кого тебе вспать
Мифологии оттуда
Привезти, где пес, паскуда,
Разевает пасть.
Объясни, что не для блажи
Нужен тот тебе, кто гаже
И любовней всех,
А для правды матерьяла —
Нам творить с кого попало
(вдох и выдох) — грех.

Текст не терпит совпадений.
Это вам не жизнь. Радений
Горестных игра
Выйдет, брызгами бряцая,
Прямо на берег, босая,
С гиком: «Фраера!
Что вы замерли тут кисло?
Уж не ищете ли смысла?
Я иду — на вы!
Я несу вам из забвенья
Листья, ягоды, коренья,
Прелый пух травы.

Различите в этой снеди,
В залитом мочою снеге
Тех...» Но тут к губам
Палец розовый подносит,
И уж как ее ни просят,
Всё молчит... Куда
Заведет ее молчанье
Нас? В West-Oakland, где мычанье
Вшивых бедолаг
Хора ангелов утешней,

Где твой призрак — вечно вешний
Придорожный знак.
Знак того, что всем — по вере...
Ну, уж мне, по крайней мере.
И когда во тьму
Я писульки отправляю,
То от всех в отличие знаю —
Куда и кому.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Как кровожадная Жанна,
Как пылкий ревнитель свобод,
Я нащупываю голоса,
Когда ночь ослепляет меня.
В тесных ходах темноты
Я пробираюсь, как крот,
К тому, что было покрыто
Грязевыми потоками дня.
Сквозь воск, сквозь вонючую серу
Я слышу биенье ее,
Поэтики старого Морзе:
Та-та́-та, та-та́-та, та-та́м.
И тут я ее наряжаю
В постыдного сорта рванье,
В сокровища здешних помоек,
В тот самый, ахматовский, хлам,
В ее обветшавшие шали,
В кузминских мальчишек белье.

Как старую лысую куклу,
Жалею ее и пою
По ней отходную молитву,
Качая ее на руках:
Та-та́-та, та-та́-та, та-та́м.
А в кукольном, сером раю
Ей писк механический вторит
Таких же нелепых нерях:

Та-та́-та, та-та́-та, та-та́м.
Не в этих ли куцах «татá»,
Как в цепких тисках анаграммы,
Скрывает до срока от нас,
Как девственниц в тучном гареме,
В утробе своей темнота
Еще не рожденные смыслы
Давно отсмешивших гримас?

Ничто не рождается новым.
Ничто не родит новизна.
Растленные опытным словом,
Встают от столетнего сна
Под спудом созревшие знания
И падают, словно плоды,
На тихие, скорбные зданья,
Как в каменные сады.

И мы погружаемся в мякоть,
В звучащую мякоть родства.
И льется пылающий деготь,
Как с неба вода и листва.
И снова способны мы плакать,
Как в первое утро вдовства,
Пока еще молодо горе,
И бродит еще и пьянит,
И вор не сбежал и на воре
Железная шапка горит.
Мозаику милых отметин
Тасует горения свет.
Но крик еще не безответен,
И ветер доносит ответ.

ЕВРОПА

Что стыд Марии? Что молва?
Что для нее мирские пени?
Когда склоняется в колени
Ей старца гордая глава?

Пушкин «Полтава»

Так что в тебе столь сладко для меня?
Ты стар. Ты горек. Ты не понимаешь
Ни слова на могучем языке,
Которым я, чего уж там, владею,
Пока не объявился Пугачев...
Какую необъятную идею
Я вчитываю в стертые черты?

Почем я знаю. Только с той минуты,
Когда ты появился, ты был — ты.

Подростком хмурым я играла в куклы,
Пытаюсь гормональный хоровод
Утишить как-то. Я их вынимала
Из их нехитрых тряпочек, я их
Друг к другу прижимала деловито...
Не так ли в нас, мой пастырь и жених
Бесперстая играет Афродита,

Как лысых пупсов, как больных детей
Взрывной волной бросая друг на друга
Тех, чье лицо кривится от испуга,
Когда, гремя, несется колыбель
В тоннель тифозный?

В ее вцепившись хлипкие борта,
Мы чашу ту проносим мимо рта,
Что Бог наполнил коньяком и медом,
Чтоб сбить температуру, но, увы,
Микстура эта в рот не попадает,
Стекает по усам и по груди!
Тут Бог салфеткой кляксы промокает

И снова процедуру повторяет,
Но в благодарность слышит: «Уходи».

Причем тут Бог?

Какая Афродита?

Я бы сказала, ЧТО так сладко мне,
Да критик с неизменностью москита
Повадится являться в тесном сне,
В котором, как в утробе, как во гробе,
Лежим мы рядом, словно бы плывем.
И лижет бык утешенной Европе
Большую грудь тяжелым языком.

Мир населен тобой и горяч, как плод.
Ты долговяз и сед, словно под Новый Год
Столб телеграфный на пустыре. Ты добр.
Добр и беспомощен, словно античный хор.
Для поцелуя руку мне протяни сквозь дым,
Через трупные пятна лужиц, озер, морей,
Дай мне прильнуть лобзаньем юным, сухим, седым,
К медной твоей ладони, дай разместиться в ней.
Блудная — в терпком смысле — дочь на коленях пред
Тем, кто ее до крови ждал в нежилом дому.
Для поцелуя руку дай мне, бесстыдный бред
Слушай, не удивляйся жребию своему.
Слушай, похищен мною черный второй носок —
Можешь не озираться и не искать белье!
Слушай, пустая лампа смотрит на мой сосок
Плотояднее фавна — значит, ночь на Земле.
Белая ночь на небе (как написал студент).
Та, что, в порядке блуда, брошена в корм коню.
Конь потому лишь только носит название Блед,
Что питается белой ночью. К ее огню
Я отведу, любимый нас в упования срок:
Половинки мостов, как фаллосы, над волной
Высятся, на Литейном черный лежит носок
(Стянутый в ночь прощанья и под подушку мной
Спрятанный), по-над Стрелкой ростры чадят, в порту
Образуются солнце, нежное, как твои
Пальцы
В моем озябшем от предвкушенья рту.

САМЫЕ ПРОСТЫЕ СТИХИ

Валяй, купайся в пустоте,
Как воробей в апрельской луже,
Затягивай ремни потуже
На уповании быть с тем,
С кем ты сошла, как птица Див,
На землю бросившись в припадке,
Кто так насмешлив и правдив,
Что от деления в остатке
Не остается ничего:
Не уязвить его, как локоть
Не укусить, но можно трогать
Картонным пальцем — ничего!

Настройся на мажорный лад.
Гляди в окно — там ходит кошка,
Там двое нищих говорят,
Крадется резвая старушка.
Предайся этой полноте
Круговращения отбросов.
Закат невежествен и розов,
Скворец запутался в кусте.
Бредет надменный почтальон —
Небось, несет счета из банка.
Жизнь не прошла, покуда жалко
Себя и Бог не посрамлен.
Уж он то фантик, то тесьму
Тебе подбросит в день Субботы,
Ты же переадресуешь счета
Свои, да и счета ему:
Ведь все оплатит! И того,
Кто спит сейчас в стране далекой,
Спеленут страстью и тревогой,
Не понимая ничего.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ С ДРУЗЬЯМИ

I

Весь мир — театр, но люди в нём не актёры.

Вернее, актёры в нём — не люди,
а сплетни — силуэты этих людей.

Сплетни имеют четкие очертания,
традиции, интертекст, значение, правила, память.

Вот появляется человек — что мы знаем о нём?

Что мы можем узнать о нём —

содержание паспорта и медицинской карты?

(В моей, например, постоянно описывается стул

с таким, замечу, художественным чутьем,

как будто это закат над Арно или премьеры «Чайки» —

Чехов ломает пенсне.)

Человек обладает столь скромным набором черт,
что уже во втором поколении никто бы не отличал
своего соседа от самого себя, если бы не...

Если бы не возможность позвонить (написать, послать

караван)

в Нью-Йорке (Петербург, Джеккаган) совершенно

безликому (или безликой) N

и шепнуть с предвкушением счастья: «Ты знаешь, а Y...»

Что же наделал Y?

Вот тут агент сплетни вживается в роль Пандоры —

наивность смешалась с коварством —

и сдвигает стопудовую крышку скуки

над котлом мировой культуры и... медицинская карта

становится «Старшей Эддой», «Смертью в Венеции»,

«Происхождением трагедии» или «Майн кампф»'ом —

по вкусу.

Косноязычный статист выходит на середину сцены
с кнутом в руке и, самобичуя, разоблачается,
под невзрачным тряпьем обнаруживая мускулы
куриация или груди аниты экберг.

Но пьесу делает зритель. Ты можешь разоблачаться беспробудно, бесстыдно, вплоть до прямой кишки — никто не заметит.

Вся надежда на друга. На меня, например.

Мне надлежит совершить логарифмическое исчисление, сиречь: этот Y — козел. (Что вы морщитесь?

Слово «козел» многозначно, как всякое слово, переменчиво, как светофор.)

Этот Y — козел потому, что он в юности:

а) подавал нам надежды (как милостыню),

б) утверждал, что свобода и братство...

в) обрюхатил бесплодную Z.

Далее он эмигрировал — это уже хорошо.

То есть, *понятно*: Харбин — Севастополь

(верней: Севастополь — Харбин),

нищенство, нищенство, нищенство,

вскоре — Париж, принят у Гиппиус, изгнан,

вернулся в Сорренто.

Как туристический ненарушимый маршрут,

вехи большого пути. Например, приключенья

печально известной П.: отец неизвестен,

мать нелояльна к режиму, но любвеобильна,

ранний дебют и невинность, как овощи в борщ

ловко наструганы в жертву сюжету. Затем...

Всё это только затем,

чтобы глина меня

форму какую-то приобрела на Земле.

Чтобы, встречая меня, провожая меня,

люди сказали себе: «X плюс Y равно...»

Ибо на самом-то деле нам дан человек.

Он состоит из коробки конфет и окна,

боли в спине, бормотанья: «Он любит/он не...

кстати, а я?.. я не знаю... вчера еще... а

завтра?.. наверно... но нынче — звонить в Петербург!»

Чтоб сообщить совершенно простуженной S...

Что же? Что Y — козел. Почему? Потому,

что я хочу объяснить ей:

она мне дороже всего,
слаще себя...
В Первом мире бредет Рождество
(тоже особая сплетня),
а в Третьем — темно и невольню.

Вербализировать это — ковыряться пинцетом в мозгу:
Главное — неэстетично, неглавное — больно.
Да и бесстыдно — вне сплетни.
Безвкусно. Безрадостно. Без.
Ибо она — об устройстве надежды ликбез.
Сплетня, она, как надежда, — слепа, безрассудна...
Ходит повсюду, ломает любые замки.
Всё обращает — и судороги, и зевки,
и золотые венки, и зловонные судна.

II

Что-то критики на меня серчают.
Было время, они меня любили
За библейский профиль, нежный возраст
И густое «до» в последних нотах.
Было время, было племя, семя,
А теперь я горькую пилюлю
Их презрения глотаю вместо сладкой
Противозачаточной пилюли.
И поэты меня любили помню
Прихожу к одному как звать забыла
Говорит ах сукина ты дочка
Всю-то ночь читал проспал работу
Ты у нас Ахматова вторая.
Хорошо еще, думаю, не Пушкин,
Но молчу и жду, когда накормит.
А сегодня дама мне сказала,
Распахнув свой портсигар изящный:
«До чего вы молоды, Полина,
Молоды и счастливы, Полина».
Согласившись, я пошла на службу.
Нынче я служу в библиотеке.
С точки зрения разных обстоятельств
Мне как раз там самое и место:
Мой отец — под шифром PG-20,

Мой любимый спит в журнальной стопке,
Мой другой любимый... Впрочем, хватит.
Общая картина очевидна.
Открываю книгу: здравствуй, папа.
Уж четыре года не видались.
С того самого дня, да ты не помнишь.
Ты сошел с ума, газеты пишут.
Я газетам не могу не верить.
А сегодня я почти случайно
Нахожу журнал, и что же вижу —
Боже, не таким его я помню.
Память рабская груба и льстива,
Беззастенчиво пользуется тем, что
Уличить ее в подмене смогут
Только нежный червь да эксгуматор.
Самолет летит. Родимый Окленд
Этой ночью может спать спокойно.
Бодрствует внутри него Полина,
Та, что всех моложе и счастливей.

СОДЕРЖАНИЕ

Она никогда не придет с мороза	5
«Иные сны...»	11
Маленькое любовное недоразумение	13
Перепев одного письма	15
Песенка Лорелей	16
Москва	17
Halloween на Кастро	18
«...Буде оно добро...»	20
«Наклонись надо мною, как синий комар...»	22
История идеологии и поэзии. Идеология истории и поэзии.	
Поэзия идеологии и истории. Или — вдогонку А. З.	23
«На дверцах здешних туалетов...»	24
Письмо любимому в Колорадо	26
Поездка в Хобокен	27
Куплеты Поликрата	29
Белый автомобиль	30
Счастье	32
Pottery/Poetry	34
Madre selva	36
Вдова бабуина	37
Housesitter's Sweet Vengeance	38
Соучастие	39
Арии	41
Из переписки двух авторов	44
«Жизнь улыбалась мне сегодня...»	45
Из прозрачной папки	
«Как Персефона и Живов...»	47
«возьми мою голову в руки...»	48
«Богатейшая идея...»	49
Преимственность	52
Европа	54
Самые простые стихи	56
Из переписки с друзьями	57

В поэтической серии «Автограф» изданы:

- **Б. Ахмадулина.** Ларец и ключ
- **В. Салимон.** Невеселое солнце
- **И. Лиснянская.** После всего
- **Ю. Кублановский.** Памяти Петрограда
- **И. Бродский.** В окрестностях Атлантиды
- **Н. Кононов.** Лепет
- **А. Пурин.** Евразия и другие стихотворения
- **Е. Шварц.** Песня птицы на дне морском
- **С. Гандлевский.** Праздник
- **В. Гандельсман.** Там на Неве дом...
- **В. Дроздов.** Стихотворения
- **Л. Лосев.** Новые сведения о Карле и Кларе
- **А. Цветков.** Стихотворения
- **Д. Новиков.** Караоке
- **И. Жданов.** Фоторобот запретного мира
- **Т. Кибиров.** Парафразис
- **Е. Шварц.** Западно-восточный ветер
- **Б. Ахмадулина.** Созерцание стеклянного шарика
- **В. Салимон.** Красная Москва
- **В. Зельченко.** Войско
- **Б. Кенжеев.** Сочинитель звезд
- **А. Битов.** В четверг после дождя
- **Л. Лосев.** Послесловие
- **И. Лиснянская.** Ветер покоя
- **В. Гандельсман.** Долгота дня
- **Е. Шварц.** Соло на раскаленной трубе
- **Т. Кибиров.** Интимная лирика
- **В. Павлова.** Второй язык
- **В. Кривулин.** Купание в иордани
- **М. Ерёмин.** Стихотворения
- **С. Кекова.** Короткие письма
- **Б. Ахмадулина.** Возле ёлки
- **Д. Новиков.** Самопал
- **Т. Кибиров.** Нотации
- **В. Соснора.** Куда пошел? И где окно?
- **С. Гандлевский.** Конспект
- **Б. Рыжий.** И всё такое...
- **П. Барскова.** Эвридей и Орфика
- **И. Лиснянская.** Музыка и берег
- **Л. Лосев.** Sisyphus redux
- **В. Дроздов.** Обратная перспектива
- **Т. Кибиров.** Amour, exil...
- **В. Соснора.** Флейта и прозаизмы

- **В. Гандельсман.** Тихое пальто
- **В. Павлова.** Линия отрыва
- **В. Коваль.** Участок с Полифемом
- **Е. Шварц.** Дикопись последнего времени
- **Б. Ахмадулина.** Пуговица в китайской чашке
- **А. Поляков.** Орфографический минимум
- **Б. Рыжий.** На холодном ветру
- **В. Соснора.** Двери закрываются
- **С. Кекова.** На семи холмах
- **М. Степанова.** Тут-свет
- **П. Барскова.** Арии

Все книги серии тиражом до 1000 экземпляров.

Для приобретения указанных книг
обращайтесь в издательство по адресу:
191028, СПб., Моховая ул., 20, помещение журнала «Звезда».
Информация по телефону: (812) 273-37-24, факс: (812) 273-52-56

Б 26

Барскова П. Арии. Новые стихотворения. — СПб.: «Пушкинский фонд», 2001. — 64 с.

ISBN 5-89803-087-5

ББК 84. Р7

Барскова Полина Юрьевна

Арии

«Пушкинский фонд», Санкт-Петербург, 2001

Редактор *Г. Ф. Комаров*

ЛР № 071541 от 21 ноября 1997 года

Издательство «Пушкинский фонд»

191186, Санкт-Петербург, Набережная р. Мойки, 12

Подписано в печать 14.12.2001 г. Формат 60x90 ¹/₁₆. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 4. Тираж 1000 экз. Заказ № 1860.

multiPrint
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии

«Полиграфический центр «MULTIPRINT»

190000, Санкт-Петербург, Прачечный пер., 6. Тел./факс 812 315 33 10

